

Хрустальный дым

Теперь, когда острота природы и весенняя грязь наконец исчезли, жизнь стала гораздо приятнее, чище и светлее. В этом году лето выдалось дождливым, и я, уже готовый к жарким дням, запасшийся вкусностями, книгами, фильмами, договорившийся с котом о совместном времяпрепровождении, три месяца возвращался домой только для того, чтобы поесть, поспать и взглянуть в обиженные глаза Пруда, от многозначительных «мяу» которого на душе у меня становилось так паршиво, что хотелось бросить эти прогулки и запереться дома – в конце концов, я ведь действительно обещал. Но дожди очаровывали меня, мне хотелось дышать ими, и даже в грозы, когда все жители Чашки прятались по домам, я мог только улыбаться, неспешно двигаясь по узким улочкам, вымощенным аккуратными каменными плиточками, в окружении зданий, казавшихся при такой погоде особенно таинственными и зачаровывающими.

Вряд ли вы когда-либо слышали о Чашке. Я ни разу не путешествовал (если не считать редких поездок в соседний город несколько лет назад), да и пожил ещё совсем немного, но уже успел понять, что этот городок находится на самом краю вселенной, а дальше – поля вплоть до горизонта. Это, конечно, только в одном направлении, а в другом – до ближайшего города, границы моих перемещений в пространстве, пара сотен километров, заполняют которые леса, тропы и, впрочем, тоже поля. Но к городу проложена железная дорога, и вагонники отсюда ходят совершенно пустые и пустыми возвращаются назад, но ходят стабильно четыре раза в день. Мне порой кажется, что они нужны для подстраховки или даже для самой возможности выбора – личный мобильник или общественный транспорт? Большинство предпочитают первое, но иногда я видел в окнах отъезжающих вагонников усаживающихся людей. Я и сам равнодушен к мобильникам: при всей их возможной скорости, неудобный дугообразный корпус, железо, похожее на небритое лицо, и совершенно неповоротливый руль, заставляя думать только о том, как бы не свалиться, во всём уступают отсвечивающей красоте вагона снаружи и внутри, колыбельному стуку колёс и проносающемуся мимо миру.

Чашка получила своё название, когда около ста лет назад местный картограф изобразил на бумаге её границы. Если верить историкам, он тогда так и воскликнул: «Да это же чашка!» – ну, или что-то вроде того. Со стороны основной двери, как я это называю («главные ворота» звучит как-то не совсем подходяще для этих улиц), Чашка отделена от остального мира такой же небольшой символической стеной, как и любой другой город, но у нас она смотрится не менее странно, чем название «главные ворота». Город буквально вдыхает себя в каждого, кто хотя бы раз переступал его порог, и, несмотря на то, что стена всего одна и в длину растягивается стандартно лишь на десять метров, в целом не мешая зрительному контакту с линией горизонта, многие всё же предпочитают вообще не смотреть в сторону основной двери. Может быть, я подсознательно не замечаю тех, кто смотрит туда, и предпочитаю отмечать взглядом только остальных, может, я вижу только то, что хочу видеть, и этот свет в глазах местных жителей только кажется мне, но, даже если так, Чашка всегда была и остаётся прекрасной. Уникальность, неповторимость каждого времени года усиливается в миллионы раз, если смотреть на них через призму её дорог, домов, деревьев, трамвайных путей и лавочек. Осенью, например, – из-за пасмурности и дождей – всё становится свежим и серым, здания приобретают оттенки, которыми как бы пытаются подчеркнуть свою неприкосновенность, предложить всем прислушаться к их дыханию. Голоса трамваев в это время скрипучее и звонче, особенно над головой, и кажется, что, если сесть в один из них, то он увезёт тебя в особое место, в которое никогда не попадёшь в другие дни.

Нынешнее лето больше похоже на осень, чем прошлое и позапрошрое. Конечно, всем хочется солнца, ведь запасы еды не безграничны, но об этом беспокоятся только те, кто больше других склонен переживать и нервничать без причины. Не знаю, читали ли вы миф о Мокром Голоде, слышали ли о нём, но, если нет, то, вкратце, там говорится о возможной причине конца света: бесконечный дождь, навсегда затмившие солнце тучи, никакой возможности зарядить пищевики. Когда все поняли, что это лето будет дождливым, несколько моих знакомых пару раз процитировали эту историю, а соседка – тётя Тухинга – даже запаниковала, но быстро успокоилась, что для неё вообще обычное дело. Что до меня, то мои чувства к дождю затмевают собой мысли о смерти.

Если бы вы оказались в Чашке летом какого-нибудь другого года, то она показала бы вам совершенно иную свою сторону – ту, где трамвайные пути, нисколько не изменив своего положения в пространстве, вдруг начинают напоминать аттракцион-горки, а земля под ногами так горит, что босиком на неё лучше не вставать, даже если очень хочется. Улицы переполнялись бы людьми, и вам казалось бы, что их, людей, очень много, хотя на самом деле всех их при большом желании можно даже запомнить поимённо, и пусть вас не обманывает общественный транспорт и количество этажей в домах. Я не против и таких дней, но всё же ничто не сравнится с возможностью продлить осень. Кроме времени, когда серость покрывается сахарной пудрой, добавляющей налёт волшебства на таинственность зданий, и поначалу хочется перестать шевелиться, чтобы не спугнуть первые снежинки, а затем появляются снеговики, вечно о чём-то недоговаривающие и оттого привлекательные, и, наконец, гирлянды – то самое, что, заняв своё место на улицах, начинает отвечать на дыхание города своим собственным дыханием, и слушать их диалог можно целыми ночами, и всё равно захочется ещё.

Единственное направление, в котором смотреть мне не хочется, – это небо, когда оно затянуто облаками. Некоторые не понимают меня: грозовые тучи успокаивают и очаровывают, а облака пугают – отчего же? Я, наверное, никогда не смогу объяснить им это так, чтобы они поняли до конца. Меня пугают не облака, а то, что может с ними случиться. То, что может оказаться за ними, пробить их и разрушить этот мир.

– Пробить? Разрушить? – с недоумением посмотрел на меня один из моих друзей, когда я поделился с ним этими мыслями. – С чего бы? Мы, слава богу, поумнели. Может, тебе поменьше пока смотреть на них? Отдохни дома, а потом расскажи, как себя чувствуешь. Я что-то переживаю за тебя: эти облака на тебя и правда странно действуют – уже вон даже ругаться начал.

Я так и поступил, отдохнул дома. И мне на самом деле стало лучше. Но лишь до следующего раза, когда я снова взглянул на облака. Они не кажутся мне чем-то цельным – таким цельным, как Чашка, как местные леса, вагонники и мой собственный дом, – нет, они больше похожи на завесу дыма, такого хрупкого, что кажется, будто он сделан из хрусталя.

– Но разве в этом есть что-то плохое? – спросила однажды Линна.

Нет, нет, конечно, нет, в этом нет ничего плохого, это самая правильная вещь на свете, но отчего-то мне всё равно страшно. В последнее время я стараюсь об этом не говорить, чтобы лишний раз не заставлял друзей и Линну переживать обо мне. В глубине души я понимаю, что это нечто вроде фобии и не более того.

У меня есть целых два спасения от облачной погоды. Первое – дом. Мой дом, в котором я живу с самого рождения и в котором с недавних пор со мной живёт Пруд. Он всегда чувствует моё состояние и, если мне хорошо, разделяет мою радость и счастье вместе со мной, а если плохо, старается утешить. Под утешением у него обычно понимается мурчание у меня на руках, на коленях или, если я сплю, вообще где угодно, но иногда он предлагает поиграть или привлекает моё внимание к тому, что могло бы меня

порадовать. Прошлым летом я как-то вернулся домой в опустошённом состоянии, задернул шторы и несколько часов дулся на кого-то невидимого, пока Пруд не подбежал к шторам и не начал интенсивно тереться о них головой, показывая мне, что я должен их снова раздвинуть. Последовав его совету, за окном я увидел серое небо и тоненькие, едва различимые глазом ниточки дождя – первого и единственного за то лето.

Второе спасение – тоже дом, но не мой, вообще ничей. Старый заброшенный дом на окраине Чашки, ещё из доисторических времён, один из тех самых Памятников, которые решили не сносить – единственное, из-за чего о Чашке когда-либо мог бы узнать мир, но не узнал, да и слава богу. Пару раз в дом приходили сталкеры, специально ради этого приезжавшие в наш город, но они не мешали – просто бродили, осматривались, фотографировали и уходили. Мне это не нравилось, я хотел, чтобы это был только мой мир, но я был к этому готов. Сталкеры, к тому же, очень бережно обращаются с найденными «объектами» и не имеют привычки трепаться о них на весь свет – они говорят об этом только между собой, а их не так много, чтобы их редкие визиты воспринимались как наплыв туристов. Для меня же этот дом красной нитью прошёл через всю сознательную жизнь, став убежищем, тайным миром и другом. Однажды в детстве я забрался туда, когда играл в прятки с соседскими детьми, и меня так и не смогли найти. Выбравшись, я решил никому не рассказывать, где прятался, и все решили, что я просто ушёл домой, подговорив родителей не говорить никому, что я дома. Позднее мои друзья – двое парней из детской компании игроков и ещё три девушки, с которыми в детстве я знаком не был, – всё-таки узнали, что я время от времени хожу в тот дом и подолгу не выхожу оттуда. Они спросили меня об этом, я рассказал, и они прозвали меня Домушником – это прозвище приклеилось ко мне, судя по всему, навсегда.

Этим летом в качестве извинений я несколько раз брал с собой в дом и Пруда. Под дождём ходить он отказывался, поэтому мы брали зонтик, добирались до моего убежища и гуляли по комнатам первого этажа, сидели в одной из них, любовались погодой через окна, читали, слушали музыку, иногда спали. На второй этаж Пруд подниматься не хотел: он не смог бы там спастись от дождя (не считая зонта, конечно, но он понимал, что внутри дома это испортит атмосферу), потому что у дома не было крыши. Она обвалилась давным-давно, ещё до моего рождения, и именно это и стало причиной, по которой тогдашние жители Чашки стали более тщательно ухаживать за домом. Его «вылечили», без этого он вряд ли дожил бы до меня, так что я благодарен тем людям. Обычно я остаюсь на первом этаже, когда погода облачная или слишком холодная, и поднимаюсь на второй в остальных случаях, но вместе с Прудом я делал исключения. Он понял меня с первых шагов по этому полу, отнёсся к дому трепетно и с интересом, изучил его, нашёл даже то, чего я никогда не находил. И тогда я подумал, что в таких местах надо быть осторожным. Не заглядывать в щели, не копаться в складках и слоях пыли, чтобы не потревожить то, что тревожить не следует. Потому что, если найдёшь что-то, не всегда сможешь положить обратно и забыть.

Особой частью моей жизни была и остаётся Линна и встречи с ней. Одна из них была назначена на тридцать первое июля (в тот день тоже шёл дождь, но Линна к этому относится, к счастью, так же, как и я), а за день до этого в городе сменился привратник, так как прежний, Вахор, спасибо ему за всё, ушёл на отдых. Проблем это не вызвало, но мне пришлось второй раз в жизни объяснять, что я знаю всё про отказ от транспорта и тому подобное. Милый молодой человек лет на пять старше меня встретил меня у основной двери и вежливо произнёс:

– Добрый день! Меня зовут Ян Рагон. Если хотите покинуть город прямо сейчас, Вам придётся поехать на личном мобильнике, так как ближайший вагонник прибудет только через час. Ваш мобильник нуждается в осмотре, или всё в порядке?

– Здравствуйте... – Я оказался немного перегружен ситуацией, пытаюсь понять произошедшую перемену, и меня сбивало с толку его редкое двойное имя, как и сам факт его присутствия здесь. – А где Вахор?

– Теперь я вместо него, он больше не работает. Так что насчёт мобильного?

– А... ну да... Знаете, я не так далеко отправляюсь и вообще-то хотел пойти пешком.

Его лицо стало встревоженным. Он задумался, скорее всего, вспоминая инструкции на такой случай, и, наконец, спросил:

– Вы уверены? Вы же осознаёте всю возможную опасность отказа от транспорта? Сердце исправно работает, но ничто не застраховано от неполадок.

– Я уверен, да. Я уже три года так хожу, так что это дело привычное.

– Хорошо, но помните, что в случае опасности Вас ничто не спасёт.

– Рядом будет человек со своим мобильником, так что...

После этих слов ему заметно полегчало. Конечно, он не мог бы запретить мне выходить из города, но теперь я знал, что он делает это со спокойной душой.

Я вышел из Чашки, миновал гаражи с мобильниками и оказался на Тропе. На самом деле, конечно, это не какое-то название, а самая обычная тропа, но мне нравится считать это её именем. Несколько метров от основной двери Чашки, и Тропа раздваивается на две: одна – вправо, к полям (традиция играть там перенимается в Чашке каждым следующим поколением детей), другая – влево, где ещё через пятнадцать-двадцать минут ходьбы начинается лес, но внутри него Тропа не прерывается, а прерывается она спустя ещё около двадцати минут ходьбы, на выходе из леса, выливаясь (как река – в море) в поле, почти такое же, как поля рядом с Чашкой, но всё же не похожее на них.

Уже на выходе из Чашки, там, где начинается Тропа, начинается и каждая моя встреча с Линной. С этого момента я уже иду к ней, зная, что она тоже движется навстречу, ко мне, и каждый шаг в направлении места встречи – это особый шаг, не похожий на другие, ни на что не похожий, потому что в эти моменты меня несёт земля, а я лишь наблюдаю за этим. Даже ветер каждый раз дует в направлении моего движения, и это становится особенно заметно, когда я вхожу в лес. Лесной отрезок моего пути никогда не предлагает мне свернуть, несмотря на то, что сойти с Тропы и углубиться в глушь можно в любой момент. Но сходить не хочется, а хочется только идти по Тропе, чтобы выйти с обратной стороны. Если Линна уже там, то она сидит на земле рядом со своим мобильником, читает что-нибудь или любит небо, а увидев меня, встаёт и идёт навстречу, и в направлении её движения, что бы вы ни пытались на это возразить, тоже дует ветер, и это становится видно по её волосам. Если её ещё нет, то я радуюсь, что не заставляю её ждать, сажусь туда, где сидела бы она, и, если на небе нет облаков, смотрю в него, пока оно не начинает смотреть в меня; в облачную погоду я закрываю глаза и надеваю наушники. Линна выезжает с противоположной от леса стороны – со стороны города, в котором она живёт, и путь её гораздо длиннее моего, но времени на транспорте отнимает столько же.

Это место, как и Тропа, тоже – не поле, а Поле, только уже не для одного меня, а для нас обоих. Оно совершенно особенное, мы сидим здесь часами, иногда забывая о времени настолько, что, если бы я жил не один, то мой телефон уже устал бы от звонков.

В тот день дождь лил с самого утра, и Линна смеялась, убирая за уши отяжелевшие от воды волосы, в шутку делая вид, что они неподъёмны и для неё это титанический труд, а я подумал о том, как было бы здорово остановить время и смотреть на это сутки напролёт. Оделась она не по погоде – в летнее платье, – но, к счастью, взяла с собой ветровку и, когда я, наконец, убедил её надеть капюшон, стала похожа на таинственного незнакомца,

замышляющего что-то коварное, – о таких рассказывала её младшая сестра по прозвищу Рельса (прозвище это она получила потому, что без устали на вагонниках ездила в Столицу и обратно домой). Почувствовав это сходство, я быстро заморгал, и оно улетучилось.

– Что с тобой? – Линну слегка дёрнуло, будто она уловила то, что я увидел.

– Всё в порядке! Просто показалось что-то.

Она озабоченно смотрела на меня ещё несколько секунд, но выражение моего лица убедило её в искренности моих слов. Теперь она была похожа на саму себя, одно из своих воплощений – то, что в ветровочном капюшоне, в ромашках, выглядывающих на платье из-под ветровки, поглощённое дождём и поглощающее дождь.

– А сейчас с тобой что? – снова спросила она, но в этот раз с улыбкой.

– Да ну тебя, – отмахнулся я.

Обычно при встрече мы либо часами говорим, либо часами молчим. Очень редки дни, когда мы чередуем одно с другим. В этот раз был разговор, и я, как всегда, поражался, сколь многословным становится этот мир рядом с ней. Многословие это начинается незаметно вдоль линии горизонта, а потом расплзается с этой линией, перетекает на землю и дальше начинает вести себя совершенно непредсказуемо. Оно чрезвычайно точное, каждая его единица отличается меткостью и уместностью, и оно не требует никаких усилий для этого. Мы переворачиваем мир. Лингвисты, услышав нас, сошли бы с ума.

Но этим летом в моей жизни была ещё одна ниточка, за которой я следил с подозрением и недоверием, но всё-таки подёргивал, подгонял её, и в тот день она всплыла, когда Линна сказала:

– Рельса, кстати, изучила то, что ты передал.

Моё сердце вздрогнуло. Мне хотелось, чтобы этого момента не было, чтобы Рельса забыла о моей просьбе, а инфоконтейнер навсегда остался у неё, потому что она любит такие, потому что только она в радиусе сотен и сотен, если не тысяч, километров вокруг Чашки и своего города ездит в Столицу ради того, чтобы проводить время в Хранилище, и только ей не кажется опасным то, что она может там найти.

Это случилось где-то в середине июня, в один из тех дней, когда в свой «чашечный домик» (так Линна называет заброшенный дом – моё убежище на окраине Чашки) я взял с собой Пруда. Он сразу почуял запах, которого не было больше нигде. Он узнал о потайных ходах, которые, как мне всегда казалось, видимы только котам, увидел то, что не смог бы увидеть никто другой, и вытащил откуда-то из складок дома древний, доисторический инфоконтейнер. Рассматривая его в своей ладони, пряча в карман, я понял, что не смогу просто оставить его здесь и забыть о нём, что мне непременно нужно узнать (куда же без любопытства...), какая именно информация там хранится. Для этого, само собой, нужно было поехать в Столицу и пойти в Хранилище, а этим увлекается младшая сестра Линны, поэтому я попросил её. Меня всегда поражало, почему школьникам разрешают это. Нам напоминают о том, что возможна опасность, что Сердце по тем или иным причинам может перестать работать, но пускать ребёнка в Хранилище ни для кого не кажется столь же опасным, как позволить человеку без транспорта выходить из города.

– И что сказала?.. – осторожно спросил я, чувствуя каждое напряжение своих голосовых связок.

Но Линна не может принести беспокойную весть, это не для неё и не о ней.

– Сказала, что там нет ничего страшного. Там...

Её прервало игривое рычание вышедшего к нам из леса волка. Такое на нашей памяти было впервые, хотя я видел многих животных, когда ходил через этот лес по Тропе.

– Что такое? – умиленно пропела Линна, расплываясь в улыбке.

А я сразу подумал, что мы только что встретили нового друга, что сейчас Линна даст ему имя, а потом он будет приходить к нам каждый раз во время наших встреч.

Где-то в глубине леса послышался отдалённый вой, и к тому моменту, как ещё трое добрались до нас, тот, что опередил их, уже ластился к Линне (и я понимал его выбор).

– Да их тут целая стая! – Линна продолжала восхищаться, а я смотрел на всё это и тоже улыбался, и мне даже на секунду удалось забыть про инфоконтейнер и Рельсу.

Но лишь на секунду, потому что в следующую я уже спохватился и спросил:

– Так что Рельса?

– Там дневник человека, – закончила Линна, – который жил в этом доме в те времена. Ещё там была музыка и какие-то другие тексты, но Рельса сказала, что нам понравится только дневник. Она распечатала его для тебя.

Линна встала, с трудом оторвавшись от нового знакомого, подошла к своему мобильнику, на руле которого был подвешен её рюкзак, и достала несколько скреплённых листов бумаги.

– Спасибо, – сказал я, когда она передала их мне. – И Рельсе тоже.

Я спрятал их под своё пальто, пока они не успели намокнуть, но мне очень хотелось поддержать их под этим дождём.

Когда спустя несколько часов я возвращался в Чашку, моё сердце снова стучало быстрее и громче обычного. В этой ситуации было что-то небезопасное, что-то чужое, словно я снова смотрел на хрустально-дымные облака, только в этот раз я сам напустил их, не имея никакой возможности теперь вернуть всё обратно. Я не понимал, почему так нервничаю сейчас, уже после того, как Линна успокоила меня словами Рельсы. Мне вспомнилась моя единственная встреча с этой девочкой, вспомнился её взгляд – туманный, дымный, но ни разу не хрустальный. Я испугался, заглянув в эти глаза, а она будто увидела что-то абсолютно привычное, неувидительное для неё и уже наскучившее ей, заглянув в мои.

В своём убежище я оказался, едва переступив черту города, – сам не понял, как это произошло. (Впоследствии мои знакомые, включая нового привратника, подходили ко мне на улице и спрашивали, всё ли в порядке, потому что видели, как я тогда почти бежал, и испугались за меня, а друзья пришли ко мне домой вечером того же дня.) Я взхлёб читал дневник. Это была совершенно другая жизнь, неведомая мне, злая и опасная, грязная и безнадежная. И человек, написавший это, никак не смог бы спастись от неё, потому что ему некуда было бежать. Мне стало больно: сколько их было, брошенных каким-то жестоким и неправильным богом в тот страшный мир, который был создан ради...

... ради чего?..

На последних страницах он писал, что хочет завещать дом своей дочери, а на самой последней странице был её комментарий, адресованный, видимо, уже её детям или внукам, в котором говорилось, что дом очень много для неё значит и потому она хотела бы сохранить дневник, запечатлевший его рождение (автор был тем, кто построил это здание). Не знаю, каким чудом этот текст пережил века и добрался до меня, но теперь я с трудом держал его в руках, потому что они дрожали. Да, я больше не беспокоился и уже пришёл в себя, но внезапная боль за всё, что когда-то было – пусть и давно, пусть и неправда, пусть и не со мной, но было – одолела меня. Но автору, рождённому там и не имеющему выбора, мне оставалось только сочувствовать, и на одну секунду я позволил себе страшную мысль: а что, если и тогда было что-то светлое? Но, к счастью, я быстро одумался и отогнал её: нет, нет, нет, нет, не было и не могло быть, и его страшная жизнь, рассказывать о которой у меня никогда не повернётся язык, писать о которой не поднимется рука, яснейшее тому доказательство!

Позже в тот же день, когда дождь прекратился и на улице снова прояснилось, я гладил Пруда у себя на коленях, сидя в кресле уже в своём доме.

– Эй, Пруденс, – сказал я скорее себе, чем ему, – расскажи, как тебе удаётся всё время сохранять такое спокойствие?

Пруд вспомнил о чём-то очень важном, спрыгнул и побежал по своим делам, а я посмотрел в окно. И то ли стекло послужило защитным барьером, то ли облака в этот раз были какими-то особенными, но мне вдруг стало так легко и светло, как будто я снова сижу с Линной в Поле, а она играет с непоседливыми волчатами и гладит их родителей по головам и спинам.

Вечером, когда пришли друзья, мы играли в настольные игры, пили вино, смеялись, делились собой друг с другом и верили в то общее, что очень сложно выразить словами, но легко понять по глазам. Я помню, как поднёс бокал с вином к глазам и посмотрел через него в окно, как небо сразу потемнело и покраснело. Помню, как, проследив за моим взглядом, мне предложили задёрнуть шторы, но я отказался. И помню, как именно тогда подумал о главном – о том, что по сей день успокаивает и согревает меня: мне не нужны шторы, потому что есть друзья, есть Линна, есть любовь, которая тоже сделана из хрусталя, но которая невидима и недоступна для всего, чего я мог бы бояться.

Хрустальный дым. Сказки и паломничества

Она, как всегда, собрала в рюкзак всё, что может пригодиться в дороге, обняла сестру и вышла из дома. С этого начиналось каждое её воскресенье – тот заветный день недели, когда она отправляла себя в Хранилище, «заряжаясь» таким образом перед очередной порцией учебных будней. Субботы предпочитала проводить дома.

Ей было пятнадцать лет. Её звали Анна, но по-настоящему никто никогда не обращался к ней по имени. Её именем было прозвище – Рельса, – обретённое пару лет назад, когда она вот уже без одной недели два месяца по воскресеньям ездила на вагонниках в Столицу. Имя «Анна» Рельса выбрала себе сама; когда она появилась на свет, её называли иначе. Тем первым именем к ней до сих пор обращалась мать, иногда доводя её этим до истерик. Если в такие моменты дома была Линна, её старшая сестра, то всё заканчивалось благополучно. Если Линны не было, дом взрывался, а вместе с ним и что-то внутри Рельсы, и каждая следующая взрывная воронка получалась глубже предыдущей.

Ещё в детстве Рельсу не без причин называли самой умной ученицей в классе – все её одноклассники, задавшись этой очень важной целью найти самого-самого, единогласно определили победителя. Рельса тогда была очень смущена, а усомниться в этом звании никому ещё ни разу не пришлось, так что она смущалась до сих пор. И ей казалось, что на самом-то деле всё совсем наоборот, ведь взрывные воронки говорят явно не об уме и уж точно не о разуме, но... так считали другие.

В то воскресенье воронок не было. Был, как обычно, рюкзак, немного похожий на сестрин, но другого цвета и с некоторых пор покрытый рисунками, понятными одной Рельсе. Была выходная бело-голубая майка и шорты немного этой майке не в тон, но в целом с ней дружные. И была дверь, отделяющая дом за спиной от крючковатого пасмурного города впереди.

Чуть больше семисот лет назад маленький бородатый дядька по имени (или прозвищу – это до сих пор под вопросом) Стигель, живший неподалёку от этих мест, вышел из жилищных останков, служивших ему домом, и внезапно осознал страшную пустоту окружающего его мира. Через несколько дней его уже доставили туда, где позже

будет построена Столица, и он нашёл новых друзей и смог привыкнуть к ним, а они – к нему, но эти несколько дней оказались для него невыносимы. Выйдя из дома, он немного постоял, чувствуя себя опоздавшим на какой-то очень важный общемировой отъезд, и отправился в наобум выбранном направлении. А в нескольких часах ходьбы, с каждым шагом всё более бессмысленной, его ждала верёвка, один конец которой был привязан к ветке дуба, а другой – обмотан петлёй вокруг шеи тощей, сморщенной, кажется, обезвоженной от потока слёз женщины. Ногами она ещё упиралась в поверхность стула, который несколько километров несла из дома, и Стигель оказался в этом месте в нужный момент, так что петля с её шеи была снята до того, как она прыгнула вниз. Женщину звали Абигейл, она просила называть её Аб – так её звала подруга, оказавшаяся в числе покончивших с собой. С той подругой они ещё в детстве любили убежать из дома к этому дубу, под которым часами сидели и говорили обо всём; позднее это стало их тайным убежищем. К месту постройки будущей Столицы Аб и Стигель отправились вдвоём, а затем, уже получив возможность выбрать себе для жилья любое место на карте с гарантией обеспечения всем необходимым, вернулись обратно и поселились недалеко от дуба в построенном для них доме. Сейчас в городе, названном их потомками Абстигелем, жила Рельса. Она не знала, насколько правдивы детали этой истории, но мимо застывшего дуба в центральном парке проходила часто. Застывшим его, разумеется, называла только она – остальные считали, что дуб живёт. Что именно при отсутствии роста можно назвать жизнью, она не понимала.

Так что в то воскресенье, говорила она себе позднее, всё было как обычно – рюкзак, дверь и крючковатый, разросшийся до шумных масштабов Абстигель. Соседней Чашке было далеко до него по размерам, ему до неё – по уровню тишины. Расположение улиц напоминало Рельсе переломанные пальцы (об этом не следовало никому говорить), переплетённые в лабиринт, найти искомое в котором можно только тогда, когда уже изучил его вдоль и поперёк. И хотя искомым Рельсы было вполне конкретное место – вокзал, а по городу она могла ходить с закрытыми глазами, время от времени она сбивалась с пути, а путь почти никогда не оставался без тревожного отклика где-то внутри неё. Станным образом весь город начинал состоять из многократно клонированного «но»: ты идёшь на вокзал, но можешь зайти в книжный магазин; Абстигель не похож ни на Столицу, ни на Чашку, ни на что-то ещё, но все города одинаковые; дуб в центральном парке – сущность культурная, но к культуре люди относятся наплевательски, и они уже доказали это. Рельсе и без того хватало постоянного «но», снова и снова произносимого ей во всех разговорах со всеми собеседниками, а в эти дни это становилось единственным словом во Вселенной. Она представляла себя идущей по аду, и это притом, что никто из проходящих мимо людей даже слова такого не знает. Конечно, Рельса не была против отсутствия ада, но это когда-то было частью Культуры – да, с заглавной буквы, и пусть они все подавятся! – канувшей в Лету, которая тоже, кстати, была частью Культуры и тоже канула. Лета, канувшая в Лету. Вот же ирония. Если Рельса слишком долго думала обо всём этом, то в конце концов она приходила к желанию хватать всех людей вокруг и тащить их в Хранилище.

Может быть, она позволяла себе забредать не туда ещё и потому, что было слишком очевидно: этот город – один из многих. Есть множество характеристик, делающих его уникальным, но в сущности это та же Столица, та же Чашка, тот же любой случайный кусочек любого другого города, любой деревни, любого леса, любого клочка суши или воды. В тот раз она обнаружила себя стоящей напротив винной. В будние дни Рельса иногда заходила туда, каждый раз полностью опустошала все три своих бокала и шла домой. Ничего от этого, конечно, не менялось, но думать о том, что в этом слетевшем с

катушек мире ей предстоит провести всю жизнь, становилось немного легче. И легче смотреть людям в глаза: в них на время пропадала эта вездесущая одинаковость, как будто это всё одна клонированная душа с разными вариантами оболочек.

Она немного постояла у вывески, но развернулась и попыталась снова выйти к вокзалу, попутно размышляя – то ли в сотый раз, то ли всё-таки впервые в жизни – когда именно что-то пошло не так, когда она успела стать постоянным адресатом одной навязчивой мысли, отправляемой ей всеми, кому не лень, и уже вызубренной настолько, что хоть подписывайся ей вместо имени.

Но она решила дать одной из самых приставучих историй ещё один шанс. И сегодня в рюкзаке, между маленьким контейнером с едой и пачкой бумаги с карандашами и ручками, лежала тоненькая книжечка с пометкой «для детей».

– Я это сделаю, – сказала она, окинув взглядом абстигельский вокзал – переполненный, но пустой.

Люди здесь срастались толпами, как муравьи, с трудом умудрялись не задевать друг друга при ходьбе, и постоянно загораживали Рельсе табло с расписанием вагонников. Все они стремились куда-то уехать или, наоборот, вернуться отсюда куда-то. В этом ведь и заключается основная функция вокзала – обеспечивать перемещение из одного места в другое.

– Заключалась, пока не сдохла, – поправила себя Рельса, случайно вслух, но в таком шуме никто не услышал.

Сложно перемещать в новое место, когда таковых нет. Кроме Хранилища, но... кому это интересно?

Позже, в вагоннике, держась, чтобы не упасть, за рюкзак, она долго уговаривала себя открыть его. Потом столь же долго – опустить туда руку. Это оказалось так же тяжело, как если бы нужно было погрузить руку в пасть льва, гадая, не в этот ли самый момент внезапно отключилось Сердце.

– Я это сделаю, – снова сказала она, уже громче, как-то сильнее, кто-то даже оглянулся на неё.

И в её руках оказалась книжка, и пометка «для детей» бросалась в глаза и раздражала. Для детей – познавательная «Сказка о Начале Времён» с красочной обложкой и крупными буквами. Для детей – ложь. Для детей – эвфемистичный бред, призванный убедить во всеобщей невинности. Очень легко любить, когда никто ни в чём не виноват, когда нечего прощать.

Но она обещала себе попробовать. Руки вынуждены были открыть книгу, глаза – со скрипом и лязгом заскользить по тексту. Рельса читала – и вместе с ней читало множество детей по всему миру – о том, что давным-давно, когда никого из нас ещё и не было, в такую далёкую пору, куда даже историки боятся заглядывать, жили на свете совсем другие люди. Они были злыми, потому что не умели по-другому, и запутавшимися, потому что шли неверными путями. Их пути виделись им обычными, и это на самом деле было так, ведь самые страшные дороги в мире были для той поры обыкновенными и неудивительными. Под их ногами разрушались города, которые они сами строили. Друг другу они часто приносили смерть. И даже самые мудрые из самых мудрых, когда к ним приходили за советом, несли в ответ слепые и острые истины, из которых сложно было выбраться, а выбравшись, не получалось найти им замену. Рельса читала о страшных поступках, совершаемых этими людьми, до тех пор, пока не пришли ОНИ – те, кто спас их, подарил им возможность всё осознать, а вместе с ней и новый мир. Мир, начало которого называется Началом Времён.

Вдохнула. И выдохнула. Чтобы не позволить себе как-нибудь иначе выразить впечатления.

Она уже читала эту сказку на уроке истории в первом классе, потом – на уроке литературы в третьем. В этот раз впечатления получились иными.

И этот бред рассказывают детям, чтобы сберечь их психику? Да он только ещё сильнее её покалечит! Потом, в будущем, услышав правду, никто не спрашивает: «Почему?». А если кто-нибудь спросит – что отвечать? С тем же успехом можно было бы превратить Миф о Мокром Голоде в историю о том, как весёлые странники отправились в сказочное путешествие и нашли добрую страну, где остались навсегда. Это и есть настоящая жестокость. Разве не реками крови обозначило себя это боготворимое всеми Начало Времени? Разве не был этот прекрасный и дивный мир завален мертвецами? Разве не имеют право дети знать об этом? И разве не говорят теперь все как под копирку, что не построишь ничего на разрушениях? С какой же тогда стати они принялись строить? С какой стати так любят то, что построили? Это похоже на психологический ход: внушить ребёнку светлую сказочную картину, в которой Первые предстают такими безгрешными и чистыми, а потом, когда ребёнок станет старше, рассказанная правда не разрушит это восприятие, а лишь добавит к нему новые оттенки. «У них не было выбора»... «никто ни в чём не был виноват»... и так далее.

Она сама могла бы написать сотню сказок, в отличие от этой, настоящих, правдивых. Ну, девяносто девять. Жила-была девочка, которая однажды разозлилась на другого человека и ударила его. Её загрызла совесть, и она умерла.

Жил-был мальчик, влюблённый в девочку из своей школы. Его вдруг начали мучить странные мысли о ней, и, когда он рассказал об этом другим, его сочли сумасшедшим и долго лечили, пока в конце концов он не умер от чувства собственной дефективности.

Жил-был котёнок, поймавший мышку. Лучшие умы человечества до сих пор в шоке.

Показалось, что вагонник резко увеличил скорость, и Рельса подумала: если он сейчас оторвётся от земли и устремится к небу, он разобьёт его на миллионы мелких осколков, и тогда, может, она спасётся. А потом вдруг поняла, что такого исхода ей на самом деле не очень хочется. Что-то такое она уже слышала от Линны, когда, после своей единственной встречи с её любовью, спросила сестру: «Что с ним?». Линна тогда не поняла, и Рельсе пришлось объяснять: он волновался, грустил, переживал, ему было странно и страшно. Линна рассказала, что он не любит облака – считает их хрустальными, боится, что они будут разрушены какой-то силой извне. На самом деле Рельса не увидела в этом человеке чего-то особенного, он наскучил ей уже через пару минут разговора, она могла предугадать многие его мысли, как и с другими людьми, но её удивило наличие такого страха. Теперь, задумавшись о разрушении неба, она всё-таки решила, что готова была бы на это посмотреть, если бы был хоть малейший шанс расширить всеобщие узкие пределы, но только посмотреть, в мысленном эксперименте, в условном наклонении, не воплощая в жизнь.

Прилив сил, который она поймала из этих размышлений, быстро сменился бессильем, и, оказавшись на пороге Столицы – в небольшой деревне, от которой до города нужно было плыть на лодке, – она захотела, чтобы Хранилище само приплыло к ней. Хотя человеку, занимавшемуся этими перевозками, было труднее, ведь в лодке она в последнее время оказывалась не одна, а иногда и лодка была не одна. Жили-были люди, захотевшие узнать больше, и задалась она вопросом: «Почему же?..» – и никто не ответил им.

В Столице Рельса села в трамвай (могла бы сэкономить время и добраться иначе, но она не любила другие виды внутригородского транспорта) и отправилась к Хранилищу. Мимо проплывало нечто ещё более шумное и бесконечное, чем Абстигель, и она снова

позволила себе допустить, что не всё в мире настолько одинаковое, насколько она привыкла думать. Хотя и знала, что это временное допущение. Она вышла на остановке «Хранилище», не замечая собственной улыбки.

Огромное многоэтажное тёмно-серое сооружение приветствовало её как старую подругу. Впервые оказавшись внутри, она отнеслась ко всему с любопытством, но с недоверием, а сейчас возвращалась сюда, зная, что её ждут. С трудом осознавала, кто именно ждёт, представляла себе кого-то невидимого, водящего её за руку по коридорам и лестницам, и успокаивалась от одной мысли об этом.

В сотый раз мир изменился, как только Рельса переступила порог. Её поприветствовали, предупредили о возможных последствиях, спросили, что конкретно её интересует, снова предупредили о последствиях, подсказали, куда идти. Это ей не требовалось, так как конкретной цели у неё не было – работникам на входе она всякий раз называла то, с чего просто планировала начать. Оставляя позади формальности, они, знаящие её уже не первый год, начинали разговаривать с ней по-дружески, она делилась новостями за неделю, они приглашали попить чай, а лица их выражали беспокойство – возрастающим количеством постоянных посетителей, догадывалась Рельса. Потом она уходила в мир коридоров и комнат, переполненных информацией, которой не нашлось места больше нигде, и это было легко и тяжело одновременно: легко – потому что всё это продолжало жить, тяжело – потому что, живя, было мёртвым. Брошенные, забытые души. То, от чего просто нельзя было отказываться. И всё-таки бессмертное, хотя бы потому, что множество слов, которые должны были умереть вместе с этим, сохранились и живут в голосах людей за пределами этих стен. Она ходила вдоль книжных полок, проводила рукой по корешкам книг, брала одну наугад – и читала. Время снова начинало идти быстрее, но при этом и останавливалось. В других комнатах кто-то в наушниках смотрел на экран, кто-то нажимал на кнопки; через час-полтора она оказывалась и там. А вечером, сидя в вагоннике, который вёз её домой, она дышала всем телом, как после массажа.

Так было всегда. Но не в тот раз. В тот раз она хрустела нервами и не могла сосредоточиться ни на чём. Между полок мелькали знакомые лица, с ней здоровались, она бормотала в ответ. Вечером, уже в вагоннике, почти физически ощущала, как внутри что-то ломается. Сердце как будто медленнее стучало.

Абстигель принял её и попытался успокоить, она это заметила. Хотела пойти в парк и посмотреть на дуб, но снова обнаружила себя напротив винной. Стояла и смотрела на вывеску, на дверь, пытаясь поймать какую-то зудящую мысль, ускользающую, но летающую где-то рядом.

И поймала. И вопрос, ударивший её с силой молнии, застрял в горле, но готовился вырваться наружу. Жила-была девушка, подумавшая не о том. Она не могла себе помочь, другие – тем более.

– Почему три бокала? – Рельса всё ещё смотрела на дверь винной, тупо, бесцельно, ничего не ожидая увидеть. Её губы скривились, в глазах поплыло.

Три – это всегда было так очевидно. Нельзя прыгнуть выше своей головы. Нельзя походить под дождём и не намочнуть. Нельзя увидеть сон, если не спишь. Нельзя перейти из одной комнаты в другую комнату, не сдвинувшись с места. Нельзя выпить больше трёх бокалов вина подряд. Это невозможно. Все это знают.

Но... почему нельзя? Что могло бы помешать сделать это? Ничего...

Она решила, что сходит с ума. Улицы города продолжали плыть перед глазами. Она чувствовала, что идёт. В какой-то момент услышала:

– Что с тобой?

Это была Линна. Они стояли у себя дома, и она смотрела на Рельсу с ужасом.

– Что случилось?..

– Я... – Рельса хотела сказать это вслух, но зачем-то остановила себя, вместо этого молча обняв сестру.

Линна застыла, и Рельса отлично знала, что на лице у неё сейчас абсолютное недоумение. Рельса чувствовала то же, но, наверное, в тысячу раз сильнее. Она старалась не думать о том, сколько ещё очевидных вещей могут оказаться ложными.

Она ни о чём старалась не думать, и это постепенно становилось сложнее. Но время ненадолго остановилось, она услышала, как бьётся сердце Линны, и почувствовала себя под невидимым барьером, через который не пройдёт ни одна внезапная страшная мысль.

Думала об этом и надеялась, что это чувство – настоящее.

Хрустальный дым. Звёзды не падают

Вместе мы не спеша двигались по самым важным и ценным для нас местам, катили по очереди один мобильник и, смеясь, вспоминали общее прошлое, строили планы на общее будущее и с улыбкой оглядывали застывшее настоящее. У всех на душе было как-то легко и прохладно, и нам нравилось это, мы делились этой прохладой друг с другом, негласно решив, что именно так и обозначим наступление осени.

Шла первая неделя сентября, дожди неожиданно закончились, и Чашка вместе с близлежащими пространствами погрузилась в состояние, которое Нак называет остановкой, а я – покоем. Остальные в определениях склоняются то в мою, то в его сторону, и разговоры об этом могут длиться очень и очень долго. На мой взгляд, если город вдруг затаил дыхание, лес перестал шуметь, а поля стали ещё более пустыми, чем обычно, это называется покоем. Нак говорит, что замедление хода времени, при котором все начинают дышать одним и тем же воздухом, потому что даже он перестаёт обновляться, – это остановка. Во время этих дискуссий он иногда мельком смотрит на Атлану в надежде, что сестра займёт его сторону, хотя и знает, что её восприятие нынешней осени ближе к моему. Я, в свою очередь, полагаю, что оно существенно от моего отличается, и, сколько ни вглядываюсь в её болотные глаза, никак не могу понять, что в них прячется. Нак, конечно, знает её лучше, чем я. Порой я ему завидую.

Атлана шла в охровой футболке до колен, под которой прятались шорты (подозреваю, того же цвета), и босиком. В тот раз она держалась рядом с братом. Когда мы выходим погулять, она всегда занимает случайное положение в пространстве: либо приклеивается к кому-то (кроме Вертальги и Оллы, которые и так приклеены друг к другу), либо идёт одна. От этого не зависит её участие в разговорах, оно всегда минимально, но мы знаем, что она внимательно нас слушает.

Чуть в стороне, часто отвлекаясь друг на друга, но тоже, конечно, участвуя в общей беседе, шли Вертальга и Олла. Периодически шутили про летний вид Нака, по-видимому, из-за его сандалий, сами при этом были в майках. Мне ещё хотелось понадевать им колец на пальцы, чтобы отсвечивало солнце; я прогонял эту мысль. В отличие от Атланы и Нака, посадивших нас на настольные игры, эта парочка принесла в компанию вино.

– Да ладно тебе обижаться, вдруг и правда жарко станет! – выпалила Вертальга, схватила Оллу за руку, и вместе они, смеясь, побежали далеко вперед. Они всегда любили так бегать.

– Не знаю, Домушник, – глядя им вслед, сказал Нак, – по-моему, если тебе с кем и спорить, то с ними, а не со мной.

Я невольно засмеялся в ответ. Я согласен с этим. Во взгляде Нака на двух бегущих спортсменов (хоть бежали они в тот момент совсем не по-спортивно) я тогда заметил ещё кое-что: непонимание того, что должно было быть у него в голове в детстве, когда он сам увлекался спортом. Если сейчас рассказать кому-то об этом, тоже последует удивление: разве мог когда-то любить спорт человек, который теперь поёт на высоких тонах, а с недавних пор пробует писать музыку? Лимик, шедший позади всех, как никто другой знает: мог.

Лимик играл со мной и Наком ещё в детстве в этих самых полях рядом с Чашкой, где мы до сих пор гуляем. Точнее, мы с Наком играли, а Лимик пытался не отставать, хотя эти игры, подвижные, физические, ему совсем не нравились. Из того, что нравилось нам, он любил только прятки. Смотреть на него я больше всего люблю в те моменты, когда в полях мы находим растущий цветок: он сам тогда расцветает и ещё долго улыбается, а его чёрные волосы и одежды, кажется, начинают переливаться разными оттенками. Когда речь заходит о спорте, я не смотрю на него, от этого просто становится больно.

Когда-то я пытался придумывать им прозвища в ответ на «Домушника», но они не приживались. Дольше всех продержались «Цветочник» и «Дайвер», но и они были отвергнуты: «Цветочник» – из-за того, что самой своей формой отдавал «Домушником», а «Дайвер» – за неимением благозвучного женского аналога (хотя, казалось бы...). В результате прижилось только моё прозвище, причём настолько, что про наличие у меня имени они напрочь забыли.

Я то и дело поднимал глаза к небу. Облаков вообще-то не наблюдалось, да и мои конфликты с облачной погодой ещё летом сошли на нет, но верилось в это по-прежнему с трудом, что-то настораживало. Друзья предлагали посидеть у меня дома, как всегда, принесли настолки и вино, но от одного вида этой жидкости меня передёрнуло: незадолго до этого Линна рассказала мне, что Рельса ходит сама не своя и они с матерью не знают, как ей помочь, да и в чём, собственно, помогать, но единственным, что сказала по этому поводу Рельса, стало малопонятное предупреждение не думать о вине. Вот уж странно всерьёз надеяться, что человек не будет думать о чём-то, если ты его об этом попросишь. Так или иначе, мы остановились на ностальгической прогулке по полям. Хотя у Верталги и Оллы слова «прогулка» и «пробежка» нередко означают одно и то же.

Честно говоря, год назад при знакомстве я первым делом подумал, что будет непросто. И не ошибся: если с кем и ссорился в нашей компании, то только с ними. Атлана – на тот момент уже вышедшая к нам из дома и из историй Нака, как оживший портрет, – тоже, как мне показалось, взглянула на них как-то мрачно. Лимик удивился, Нак усмехнулся. А они просто стояли, держась за руки, на самом высоком здании Чашки, не без страха смеялись и готовились к прыжку. На спинах у них было что-то вроде самодельных парашютов – мы все поняли, что надежда на эту страховку возложена слишком большая. Нак осознал это последним, зато на крышу побежал именно он. Девушки отшучивались, мол, да ладно вам, всё же в порядке, Нак оттаскивал их от края, а мы с Лимиком и Атланой стояли внизу, смотрели на них и, наверное, действительно думали об одном и том же. Как выяснилось позднее, в тот день мы наблюдали за попыткой осуществления заветной мечты: вместе спрыгнуть с самой высокой точки, какую удастся найти, чтобы почувствовать себя в полёте. У меня к этому объяснению как-то невольно добавляется «сёстрами-птицами», но вслух я ни разу этого не сказал – неприятно. Они дружили с детства, вместе закончили одну школу, а нас попытались закружить в свой беспардонный и беспорядочный вихрь, быстро поняли, что не получится, и остались кружиться вдвоём, но вокруг нас. Иногда мне кажется, что каждая из них втайне надеялась на провал, но не могла признаться в этом другой.

И всё же сейчас, мерно удаляясь от нас рывками, ногами и звуками, они напоминали не птиц, но сестёр. Хотя Алтана и Нак в таком контексте смотрятся убедительнее: Атлана порой реагирует на движения брата даже в те моменты, когда он у неё за спиной, а Нак, обнимая каждого из нас по сто раз за день, проделывает это с ней несколько иначе, чем с остальными. Я же боюсь случайно разрушить окружающее их невидимое поле каждый раз, когда смотрю в болотные глаза, не говоря уже об обмене словами. Говорить с Наком я не боюсь, молчать с ним не боюсь, прикасаться к нему, смеяться над ним, смеяться вместе с ним, задавать ему вопросы – не боюсь, потому что знаю, что, подкрадываясь к нему в моменты его вечерних ностальгических уходов в небо здесь, в этих полях, и спрашивая позволения присесть рядом, я точно встречу честный ответ. Да, ты можешь посидеть со мной. Нет, я бы хотел побыть один. Я знаю, что его мир не похож на мир его сестры, даже если ему самому когда-то хотелось обратного. Я видел его в длинных футболках, и если бы они были тарелками, то он никогда бы не назвал их своими. Я видел, как его босые ноги противились каждому шагу по пыльной грязной уличной земле (хотя именно этот человек садится на эту землю почти каждый вечер) и как им в то же время понравилось общение с ветром, настолько понравилось, что теперь он носит сандалии. Я знаю его. А Атлана... Когда Атлана показала мне свои стихи, она сказала, что я – единственный, кроме Нака, кто прочтёт их, и я понятия не имел, что мне делать с этой информацией. Это не было личным обменом творчеством, нет, мои рисунки видела не только Линна, не только каждый из моих друзей, но и тётя Тухинга, и Вахор, и даже заменивший его этим летом новый привратник уже откуда-то прознал о моём увлечении. Нет, это было прямым пропуском в душу. И я был бы лицемером, если бы сказал, что не мечтал об этом. Мечтал, и очень давно. Она сидела за моим столом перед чашкой чая, что-то в ней изучала, а я читал и после каждого прочитанного стихотворения слышал в памяти произнесённые ею слова, делающие этот момент уникальным и бесценным. Сейчас это традиция: принесённые мне новые творения, две чашки чая, уютные родные беседы. Нак знает об этом, и, глядя в его глаза, я иногда думаю, что он, наверное, отлично знает и то, что значит всё это для Атланы. А вот я не уверен, что знаю. И боюсь спросить – и её, и его, – потому что мне кажется, что тогда я каким-то неизвестным образом окажусь внутри того, что принадлежит только им двоим и располагается строго между ними. Но потерять две чашки чая вместе с ней я боюсь ещё больше – почти так же, как периодическое долгое хамелеонное слияние Лимика со стеной моей комнаты.

День переливался в вечер, а поля всё не кончались. Что-то необычное всегда происходит с миром в этом месте, словно он становится полностью нашим, словно это наша собственная карманная вселенная. В каком-то смысле это можно сравнить с Полем – нашим с Линной, – но, когда я думаю о том и о другом, цвета у этих мыслей разные: у Поля – голубой, белый, зелёный и какой-то ещё, слабо уловимый, а у полей – смесь серого, охры, зелёного и чёрного. Поле пахнет чем-то таким, в чём угадывается пространство, мир, свобода, небо и её волосы, а поля пахнут приятной спортивной усталостью, после которой здорово выпить залпом столько холодной воды, сколько возможно, и лечь на кровать. Ещё поля рябят пылью.

Обратно в Чашку мы бежали, чтобы успеть до темноты. Ян Рагон, встретивший нас у ворот, с облегчением сказал, что рад нашему возвращению. Мне стало как-то неловко: с учётом обязанностей привратника мы можем заметно усложнить ему жизнь, если продолжим так легкомысленно относиться к прогулкам и к нему, ведь мы вполне могли бы предупредить его и вообще не беспокоиться о времени. Я сказал, что мы сожалеем, он улыбнулся в ответ. Мы предложили проводить домой Вертальгу, которая из окон своей комнаты может видеть выход из Чашки, но они с Оллой решили пойти погулять. Не

удивлюсь, если снова до глубокой ночи или даже до утра. Для меня их ночные прогулки по городу перестали быть секретом несколько месяцев назад, когда я за час до рассвета случайно увидел их в окно. Так что вместо них мы проводили Атлану и Нака, а потом Лимик спросил, не против ли я, если он переночует у меня. Я, конечно, был не против.

– Как Пруд поживает? – осторожно спросил он, когда я шелестел ключами у двери.

– Да как обычно. Соскучился по тебе уже.

С Прудом у Лимика особая близость. Порой мне кажется, что он и вправду понимает кошачий язык – настолько убедительны их разговоры. Хотя если кто и может без усилий пойти навстречу собеседнику в преодолении любого языкового барьера, то это Пруд. Со мной он всегда взаимодействует, пытаюсь как-то сбалансировать моё состояние, если чувствует, что оно в этом нуждается, а с Лимиком – только говорит, мурлычит и спит. И Лимику, кажется, нужно именно это. Он может молчать часами так, что я даже забуду о его присутствии, изучать мои рисунки и думать о них больше, чем высказывать, а может удивлять внезапно нахлынувшей на него болтливостью и энергичностью, но последнее – только здесь, в этом доме.

Пруда дома не оказалось. Включённый свет вогнал комнату в мои глаза так, что их пришлось ненадолго зажмурить. За темнотой век раздался голос Лимика:

– Ой, я забыл про эти вещи. Надо вернуть игру.

– Ась? – недоумеваю, с трудом открываю глаза, смотрю на обстановку: всё по-прежнему, кроме настольной игры и неоткрытой бутылки вина на кровати.

Одновременно подумал о том, что надо бы написать Наку и что игра предполагает любое количество игроков, начиная от двух, поэтому мы с Лимиком можем поиграть прямо сейчас. «Затерянное» – одна из моих любимых игр, в ней один игрок придумывает мир, заселяя его людьми и предметами (фигурки персонажей и атрибутика прилагаются), при этом намеренно делает одну или несколько деталей в нём «лишними», «не вписывающимися», а остальные изучают этот мир, пытаюсь понять, что в нём не так. Эти лишние детали и называются затерянными. Иногда их вскрытие способно разрушить всю концепцию созданного ведущим игроком мира и даже привести к своеобразному логическому тупику-апокалипсису, а в других случаях, напротив, украсить или даже усовершенствовать мир, принести в него процветание. Изучающие игроки могут наблюдать извне, а могут вписаться в мир как персонажи и начать с ним взаимодействовать. Мне нравится думать, что в твоём собственном окружении всегда может быть что-то, что спрятано от твоих глаз.

Утром я так и не вспомнил, когда мы уснули и закончили ли партию, нашёл неоткрытую бутылку на прежнем месте и предложил её Лимику. Он отказался, я убрал её подальше от себя. Лимик сообщил, что собирается вернуть Наку игру, я предложил составить компанию. Решил убрать вино в ящик стола и нашёл там свой позавчерашний рисунок: ромашка с чёрным стеблем и лепестками, переливающимися разнообразными цветами и их оттенками.

– Точно же... – проворкотал в воспоминания. Вовремя нашёлся и остановил уже тянувшегося к ручке двери Лимика: – Тебя нарисовал.

– Ммм?.. – Он смотрел на меня с недоумением и тревогой.

– Держи, – передал ему листок. – Твой портрет.

Он выдохнул смешок, от которого на душе у меня потеплело, и она расплылась по всей комнате. И ей стало настолько неприятно делить своё пространство с бутылкой вина, что я передумал убирать её в ящик и неожиданно для себя выбросил в окно. Лимик посмотрел на меня с ещё большей тревогой.

– Пойдём, – поторопил я его.

– Тебе не нужно это вернуть? Намусорил же...

Мне не хотелось на это отвечать: я знал, что он прав, но не хотел больше думать об этом.

Улица ослепила меня солнцем и небом. Правым ухом услышал низкий мужской голос:

– Извините, это Ваше?

Всё ещё шурясь, с трудом разглядел незнакомца: лет тридцать пять на вид, чёрный костюм – пиджак-брюки-туфли, – красный галстук, выброшенная мною бутылка вина в руках.

– Спасибо, – в последний момент сообразил я и тут же покрылся мурашками.

Мужчина кивнул и ушёл. Лимик глазел на меня. Я снова протянул ему бутылку, он снова отказался. Осознав, что мои мурашки вызваны тем, что краем глаза я вижу облачное небо, я чуть не закричал от негодования. В результате, добравшись до Нака, напросился в гости, всерьёз предполагая, что домой могу отправиться только к ночи. Нак отнёс вино в общую комнату, игру – в свою. Лимик посидел с нами час и ушёл. Нак вызвался его проводить, а Атлана села напротив меня и посмотрела мне в глаза настолько отрезвляющим взглядом, что стало страшно.

– Ну... – Она не вытягивала из меня слова, не искала способ подобраться ко мне, потому что знала, что я и так ей всё расскажу. – Что такое?

Я помолчал немного, потом неуверенно выдавил:

– Да я, наверное, опять с облаками не дружу.

Атлана вздохнула, сказала: «Понятно» – на секунду коснулась моей руки, достала чайные чашки и спросила, не хочу ли я прочесть её новое стихотворение. Стихотворение оказалось дождливым, и это меня успокоило. Потом вернулся Нак. Увидев чашки, принёс пищевик и сделал воздушный слойник. Атлана достала третью чашку и тарелки.

Домой я возвращался при свете солнца, заранее готовя себя к вылазкам на улицу – хотя бы к завтрашней, в Поле, хотя и знал, что Линна согласилась бы приехать ко мне и дойти до самой моей двери, но не хотел вешать на неё такой квест.

На следующий день, встретив беспокойные глаза Линны, первым делом спросил о самочувствии Рельсы.

– Без изменений... – протяжно, но страха в голосе больше, чем надежды.

Она не могла сидеть на месте, от Поля мы отправились гулять, и я сообразил, что шли мы в сторону Чашки, лишь оказавшись у её ворот. Линна согласилась войти, и мы продолжили прогулку уже в городе. Она говорила обо всём, что её беспокоит, о Рельсе, а я с каждым словом всё сильнее чувствовал, что должен снова, спустя столько времени, увидеть Рельсу своими глазами, поговорить с ней и, может, даже понять, что с ней происходит; после вчерашней бутылки-бумеранга мне казалось, что у меня есть все шансы. И, словно прочитав мои мысли, Линна вдруг предложила:

– Приезжай завтра ко мне? Ты так давно не был в Абстигеле.

Я улыбнулся и кивнул, на мгновение почувствовав себя только что созданным сталкером памяти, ловцом забытых мест или кем-то ещё наподобие этого.

– Всё будет в порядке. – Я захотел сказать именно это, но прозвучали эти слова, как обещание. Рука Линны вздрогнула в моей, и мне стало не по себе: а что если теперь, после этих слов, на самом деле ничего не изменится к лучшему?

Сообразив, что уже темнеет, я предложил Линне остаться у меня, но тут же понял, насколько это сейчас неуместно с учётом того, что она для Рельсы в их семье – единственная гарантия безопасности. В Поле она села на мобильник и исчезла сверкнувшей точкой на горизонте – от этого мне тоже стало не по себе. Я сделал пару шагов в сторону

дома и остановился, почувствовав себя в том положении, при котором выбирать направление совсем не хочется. Уронил себя на землю, специально пару раз кашлянул, чтобы сделать это движение хоть немного логичным. Кашель получился наигранным, и звёзды посмотрели на меня с укором, угрожая начать падать на меня.

– Ну нет, ну только не вы, – крикнул я им навстречу. – Если ещё и с вами будут проблемы, когда мне вообще смотреть вверх?

Они услышали меня и снисходительно улыбнулись. Я слышал стук собственного сердца, ощущал горлом своё дыхание и думал, что, может, одна звезда в этом небе – на самом деле не звезда, а что-то другое? И, может, на это другое прямо сейчас в полях смотрит Нак, зная точно, в отличие от меня, на какую из точек нужно смотреть, пока я бегаю глазами в поисках непонятно чего и не могу заставить себя остановиться и просто впустить в себя это небо, насладиться им. Напугать привратника я не боялся, в этот раз он был предупреждён, но лежать до рассвета и увидеть, как звёзды уйдут, я не хотел, поэтому вернулся домой. На пороге у входной двери меня встретили подписанное дождливое стихотворение и кулон-домик на цепочке. Лежали они по отдельности, и, внося их в дом, я гадал, что из этого было оставлено здесь раньше и было ли прочитано стихотворение не теми глазами, если сначала было всё-таки оно.

Стихотворение принесло покой, подпись стала колыбельной, кулон, который я успел надеть перед тем, как заснуть, отогнал кошмары. Рука ещё помнила мягкую ладонь Линны, её лёгкие пальцы, в голове звучали её слова, и предстоящая поездка уже не казалась мне такой тревожной и волнительной. Возможно, потому, что в тот момент у меня было всё, чтобы поверить: звёзды не падают – звёзды летают.

Хрустальный дым. Драконьи страницы

Он жил в объятиях родных стен. Улица за окном время от времени меняла краски, стены не меняли их никогда. Они только становились светлее, когда к нему приходили одни гости, или темнее, когда приходили другие. Его размеры были внушительными, поэтому дом его тоже возвышался над соседними и превосходил их по ширине, но это никого не пугало – напротив, многим нравилось. Ему же дом больше нравился изнутри, в своей неизменности, в любви к замораживанию времени, но и уличное движение цветов и звуков вызывало восхищение и напоминало, что у него есть крылья. Поэтому каждую ночь он выходил полетать. Тёмно-синее небо вновь приветствовало его, а он, улета в это небо, умывался им, как водой, и глаза его, прежде бледно-ледяные, становились такими же синими. Потом он спускался, пронзая поселение, и если кто-то в своём доме просыпался от сильного ветра, то вставать и закрывать окна не спешили: может быть, это просто он пролетел мимо и махнул крылом. А далеко за пределами всех поселений, на самой высокой горе, он и его друзья собирались вместе. Белая птица из северных краёв. Лань из лесной пещеры. Чёрный пёс, который предпочитал, чтобы его называли не псом, а собакой. И он. Он был драконом.

У них не было имён. Многие по всему свету неоднократно пытались как-то их назвать, но слова отлетали от них и исчезали, потому что они сами так хотели. Имена только тяготили их, привязывали к чему-то, а они не хотели быть привязанными к чему-либо, кроме друг друга. Птица приносила с севера сказки. Лань из лесной пещеры – очищающую воду, один глоток которой излечивал все печали до наступления утра. Собака завывал песни, и остальные подпевали ему. А у дракона была тайна, и у тайны, в отличие от них, было имя.

В сказках птицы жили путешественники, они искали колодец просвещения. На самом деле никакого колодца не было – был бессмертный камень забвения, но его никто не искал, потому что о нём не знали. Путешественники останавливались на ночлег где придётся, грелись карманным теплом и песнями. Если им удавалось увидеть в небе белую птицу, считалось, что остаток дня пройдёт хорошо. Так на севере считалось всеми.

Лань не любила, когда приносимую ею воду пьют, хотя каждую ночь предлагала её сама. Она знала, что печаль не нужно лечить – у печали нужно учиться, её нужно проживать и понимать, – но не могла смотреть на чужую грусть. Собака никогда не пробовал эту воду.

Если дракон уходил в себя, его глаза зеленели. Он старался этого не делать из уважения к друзьям, а они старались делать вид, что не замечают. На рассвете каждый возвращался к себе, но дракон (и об этом не знали ни птица, ни лань, ни собака) улетал в своё родное поселение, но не домой.

Тайна дракона оживала и радовалась всякий раз на рассвете, когда он прилетал к ней. Он тоже был её тайной. Её мир полностью состоял из зелени – цветы, травы на подоконниках, изображения деревьев на стенах, – и только глаза были жёлтыми, потому что это были его глаза. А её глаза принадлежали ему.

Днём он возвращался домой, и глаза снова бледнели. Вечером опускал веки и, взглядываясь в темноту, спрашивал:

– Ты слышишь меня?

А она отвечала – эхом в лабиринтах опущенных век:

– Слышу.

– Я скоро вернусь к тебе, – говорил он.

А она отвечала:

– Я знаю. Жду тебя.

Однажды к нему пришёл особенный гость. Гость был в смятении, он хотел начать разговор, но не знал, как. Дракон догадался:

– Нашли Сердце?

Гость вздрогнул, и оказалось, что он готов заплакать.

– Нашли, – ответил он. – Мы сотворили ужас.

– Почему?

– Сердце в другом мире... Мы не знаем, как оно туда попало, но... там почти никого не осталось в живых... Мне очень стыдно тебя просить о таком, но я не знаю, что нам ещё делать...

– Я ведь говорил, что мы всё равно не способны даже на то, на что способно Сердце. Чем мы там поможем?

Дракон знал, что всё равно откликнется на эту просьбу, хоть вопрос и был риторическим.

Они стояли на огромной площади перед огромным количеством специалистов, инструктирующих их, и старались насмотреться на огромное небо, потому что не знали, когда увидят его в следующий раз. Собака, поручивший небу присматривать за его горой. Лань, оставившая пещеру своим сёстрам. Птица, в чьих краях больше никого не успокоит обещание удачного дня. И дракон, чья тайна должна была остаться здесь.

– Они – *люди*, – говорил один из коллег недавнего гостя дракона. – Так они себя называют. И важно помнить, что они ещё дети и теперь зависят только от Сердца. Их прежняя реальность была чудовишной, но осуждать их мы не можем, потому что они были

и остаются детьми. И теперь, когда у них есть Сердце, у них есть понимание. Ваша задача – следить за тем, что происходит с этим пониманием. Если оно начнёт умирать, мы должны будем узнать об этом. Если с Сердцем что-то случится, мы должны будем об этом узнать.

Они были выбраны для этого только потому, что единственные могли менять облик; единственные в каждом из знакомых им миров – то есть во всех мирах, расположенных на одной «горизонтали». Дракон закрыл глаза и отправил себя в другую часть лабиринтов – туда, откуда можно было посмотреть со стороны на вселенскую систему координат: сетка миров, оси «Х» и «У»... и одна-единственная горизонтальная линия, по которой можно путешествовать... Путешествовать могут все, кто научится, но менять тело – только они четверо. И дракон готов был отдать эту способность навсегда, чтобы ему позволили остаться здесь, в той единственной точке, которую он когда-то выбрал для себя из всех возможных точек на этой длинной прямой. Он знал, что друзья будут с ним, но догадывался, что существовать в том мире, куда им предстояло отправиться, придётся порознь. И думать об этом становилось всё невыносимее с каждой секундой...

– Сердце – это сильнейший механизм! – не выдержал он.

Собака, сообразив, что больше дракон ничего из себя не выдавит, подхватил:

– Вас оно хотя бы раз подводило? Вы же такие на раз-два уже научились делать – моментально переключились на копию после того, как одно пропало! Контакт с сознанием и с подсознанием, перестраивание организма, и полная гарантия работоспособности!

Ему ответили, что гарантия не полная, что любой механизм может износиться и что дело даже не столько в этом, сколько в уже случившемся: если оно может исчезнуть, если может случиться подобное – значит, нужна надёжная защита. Если это уже произошло – значит, это либо кража, либо неизвестное явление. Если кража, то кто-то может быть заинтересован в дальнейших действиях. А если и нет, то в любом случае, в каждом из перечисленных и не перечисленных вариантов никто ни в одном из миров не застрахован от непредвиденного. Наконец, они повторили, что ещё не поздно отказаться. И отказа не последовало.

«Ещё бы...», – подумал дракон, и вместе с ним о том же подумали лань, собака и птица.

– Спасибо вам, – повторили друг за другом специалисты.

Он жил в Пустотах. Новое тело тоже было пустым. Специалисты помогали Первым – так здесь называли оставшихся в живых людей – убирать ненужное. Сносились дома, развеивался мусор, тела, шли обсуждения и голосования на тему того, какие здания следует оставить в качестве Памятников. Все инфоконтейнеры собирали в отдельные пакеты, наиболее большие – в коробки.

Первые старались улыбаться, но снова и снова плакали, и лань корила себя за то, что не набрала с собой воды из дома. Собака утешал её, подпирая лбом её лапы. Дракон не спал ночами и тоже плакал, а на рассвете, закрывая глаза, уходил в лабиринты и спрашивал:

– Ты слышишь меня?

– Слышу, – звучало в ответ. – Зачем ты плачешь? Я рядом.

Она спрашивала: «Зачем?» – но её голос тоже дрожал.

– Ты ждёшь меня?

Она ждала его.

Он тоже ждал. Неизвестно чего.

Они говорили дольше, чем дома.

В один из дней, когда Пустоты окончательно стали Пустотами, специалисты собрали всех Первых, чтобы объяснить им принципы работы того, с чем людям предстояло жить. Дракону, собаке, птице и лани, маскировавшимся теперь под людей, полагалось делать вид, что для них это тоже в новинку.

– Пищевик, – говорила, поднимая в воздух маленькую коробочку, засвеченная солнцем фигура, узнать которую дракону так и не удалось. – Производит пищу, которую вы можете трансформировать в любое привычное вам блюдо, заряжается от солнца. Инструкцию по применению мы написали; если будут вопросы, мы ответим. Далее. – Фигура взяла в руки другой предмет. – Отражатель. Создает новое человеческое существо на основе физической, физиологической, душевной, духовной, психической и психологической информации, полученной от двух человек. Эти экземпляры были специально адаптированы для вашего вида. От пола у вас также ничего более не зависит: для корректной обработки данных вам не обязательно быть разнополыми. Животным это не потребуется, поскольку менее сложные организмы благодаря Сердцу отныне не подвержены старению и так называемому «естественному умиранию».

Кто-то из людей спросил, не ослышался ли он. Фигура ответила, что нет и животные действительно отныне бессмертны, если только смерти не поспособствуют внешние обстоятельства в лице агрессивно настроенных людей, что также исключено благодаря Сердцу.

Дышалось дракону легко, и ничего, кроме разлуки с его тайной и предстоящей разлуки с друзьями, не тяготило его. Он поднял глаза к небу, небо улыбнулось ему. Здешнее небо больше всего было похоже на новосозданного. Он посмеялся этому слову – «новосозданный». Наверное, что-то подобное теперь будут говорить люди вместо «новождённый».

– Говоря о транспорте. – Фигура продолжала свою речь, а перед аудиторией появился двухколёсник, похожий на то, что люди до Первых называли мотоциклами. – Это мобильник. Сверхскоростной, двухместный. Помните, что это не просто транспорт, но средство обеспечения безопасности на случай экстренной ситуации. Сердце – не идеальный механизм, и оно тоже может изнашиваться и отказать. Если такое случится, вы, как минимум, столкнётесь с вновь приобретённой агрессией животных. Рекомендуем строить поселения таким образом, чтобы животные, представляющие подобную опасность, оставались за их пределами, и перемещаться между поселениями на этих мобильниках. В случае угрозы они создают защитное поле вокруг себя и своего хозяина. Вокруг хозяина поле остаётся в течение нескольких минут после того, как он покинет мобильник. Итак, у каждого из вас будет личный мобильник, личный пищевик и личный отражатель. Это правило необходимо соблюдать и всем последующим поколениям. Мы будем регулярно снабжать вас новыми экземплярами.

Дракон не понимал, зачем он нужен здесь, если они всё равно не собираются оставлять людей одних. Он не знал, что, если Сердце откажет, счёт может пойти на часы или даже минуты.

Он жил в Столице. Часть Первых разбрелась по миру с его друзьями, с другими (некоторые из которых, впрочем, тоже вскоре собирались уходить) остался в Столице он. Специалисты уже вернулись домой.

Первые были добрыми и улыбались, но он знал, что их печаль останется с ними навсегда. Он готов был запомнить каждого из них, как будто это единственный кусочек счастья, хотя их дети, и дети их детей, и дети их детей, и так далее – все они будут абсолютно счастливы. Но Первые стали его приглашением в этот мир, и он запомнил их такими, какими встретил. Оливер, Шарлотта и Оливия. Настя и Таня. Джеймс, Эдди, Майкл и Виктория. Абигейл и Стигель.

Шарлотта предложила двоим своим друзьям остаться здесь – и, зная её, дракон не сомневался, что через десяток-другой лет этот город будет заселён, как настоящая столица мира. Пока же он мог наблюдать за пустыми улицами. Расставленными для кого-то домами. И информационной свалкой человеческого прошлого – Хранилищем, одного визита в которое ему хватило раз и навсегда.

Город заключила в кольцо вода, и однажды, глядя вдаль с одного из берегов, дракон на пару мгновений представил себя в тюрьме, из которой никогда не сможет выбраться. Тогда же он впервые подумал, что уже пора. И, вскоре покинув Столицу, следующие семьсот двенадцать лет провёл под разными именами и с разными лицами.

Он жил в Чашке. Хотел помочь хоть кому-то и решил, что заменить старого привратника и позволить ему со спокойной душой оставить свою работу будет хорошей помощью. Когда пришло время кому-то представиться, он, не успевший придумать новое имя, перевернул то, что вспомнил из давней книги, отправленной в Хранилище: от прочитанного когда-то «янгу драгон» он оставил «Ян Рагон». В следующую секунду удивился, почему не додумался до этого раньше. Чем меньше он разговаривал с людьми, тем зеленее становились его глаза. Рассветы обнимали его настоящими разговорами – тремя родными голосами, способными преодолеть любое расстояние. Или это его слух был способен уловить их на любом расстоянии. Уличные краски за эти сотни лет ни разу не были похожи на те, что он видел всю свою прежнюю жизнь, но люди были прекрасны. Только последние годы окрасились тревогой, необъяснимой и тихой, не дающей повода волноваться, но заставляющей делать это. Он знал о меняющемся количестве посетителей Хранилища, знал о странных голосах, которыми раньше не были окрашены разговоры прохожих, и ещё о чём-то неуловимом, за которым гонялся вновь и вновь – безрезультатно.

И он отсчитывал дни и события.

И каждый вечер, закрывая пока ещё бледно-ледяные глаза, уходил в лабиринты и спрашивал:

– Ты слышишь меня?

... чтобы лёд снова сменился зеленью.